

ПОЭТИКА МИМИКРИИ - ПСИХОЛОГИЯ НЮ?

(К проблеме «маски» в «Перед восходом солнца»
М. Зощенко)

«Зощенко и есть то,
что вы читаете»
(В. Шкловский)

Имплицитированный в метафоре «маска» конфликт между личностью писателя и его трудом искушает простотой решения, которое носит в широком смысле политический характер. Художник может быть разным в изменчивых жизненных обстоятельствах: в работе он один, в любви – другой, в диалоге с властью – третий, но каков он на самом деле? При видимой наивности логика такого вопрошания вполне переключается с идеями, краеугольными для европейского мировоззрения. Не требуется больших усилий, чтобы свести ее к дихотомии «сущность и явление», издавна придававшей законную силу философской одержимости искать истину за обманчивым обликом предметов. Но что если несколько изменить данную перспективу, вспомнив, что сущность и явление в искусстве принадлежат одной и той же сфере субъекта и порой попросту совпадают друг с другом?¹

Помимо «политического» и абстрактного гносеологического измерения, идея маски, провоцируя мысль об игре или обмане, попадает в сферу интересов этики. Одно этически приемлемо, другое чаще всего порицаемо или требует оправданий. Обман и игра, правда, вновь возвращают нас к эссенциалистскому взгляду на вещи: в обоих случаях под «маской» подразумевается то не совсем существенное, от чего можно отказаться и чем в некоторых случаях удобно пренебречь. Но как быть, когда маска сама по себе и составляет суть феномена, когда значима сама маскировка и когда сущность парадок-

¹ Сошлемся здесь на коллизию, связанную с осмыслением феноменологического проекта Гуссерля, решительно выступавшего против релятивизма, но в то же время помещающего сущность в область мыслимого. Притом что сама феноменология, как говорят, представляется ныне отнюдь не магистральным направлением философии (напр.: Bernstein 1983, 12), ее влияние на релятивизм в понимании «сущности», в том числе и в области, близкой эстетической критике, в XX веке трудно отвергнуть (напр.: Lawlor 2002; Cumming 1991-2001). Из недавних работ, где рассматривается парадоксальное положение феноменологии между эссенциализмом и семантикой, между «миром» и «разумом», назовем книгу J.N. Mohanty «Phenomenology: between essentialism and transcendental philosophy» (1997). Можно сказать, что сама фиктивность литературы как искусства делает ее «феноменологичной» в том смысле, который приводит к относительности сущности в ее области, – без обращения к дискуссиям о практической применимости и теоретической уместности релятивизма как такового.

сальным – с объективистских позиций – образом действительно равна явлению? Не пытаюсь распространить вопрос на всю сферу культуры, спросим, можно ли в искусстве обманывать, не обманываясь? Способен ли писатель «снять» литературную маску, оставшись собой?

В истории русской литературы, вероятно, нет другого столь же масштабного писателя, как Зощенко, за которым эта аллегория закрепились с большей твердостью. На то, что вопрос о маске Зощенко совершенно не случайно устойчив, вспоминая и о статье А. Бескиной «Лицо и маска Михаила Зощенко» (1935), и о книге «Лицо и маска Михаила Зощенко» (1994) под редакцией Ю. Томашевского, в своей «Поэтике недоверия» (2007) справедливо указывает А.К. Жолковский. Жолковский подчеркивает, что «лицо» и «маска» по-прежнему «остаются релевантными» (2007, 8) терминами, и, таким образом, тоже следует давней парадигме. Не уходит от «маски» и L.H. Scatton в обширной монографии об эволюции писателя (1993, 246 и др.). Как камуфляж рассматривает зощенковское следование принципам социалистического реализма V. von Wiren-Garczynski (1967, 4). О маске Зощенко пишут Г. Белая (1995, 9) и М. Крепс (1986, 67, 71 и др.) etc. Создается впечатление, что свободных от нее концепций творчества Зощенко несравненно меньше, чем ей подчиненных².

Оспаривать логику, скрывающуюся за метафорой «лицо и маска», нет никакого смысла. По меньшей мере она представляет собой факт рецепции и, следовательно, уже состоявшейся литературной истории³. За словом «маска» скрыт своего рода дискурс, который имеет четкую привязку в координатах истории, и сам по себе может быть подвергнут критическому описанию.

Предлагаемая статья посвящена трем эпизодам, связанным с присвоением чужого текста в повести «Перед восходом солнца». В силу сложившейся традиции рассматриваемый материал, как кажется, напрашивается на интерпретацию в аллегорических категориях «лицо и маска». Тем не менее альтернативы возможны.

² Опасается использовать слово «маска» Ц. Вольпе в «Книге о Зощенко». Вольпе предпочитает ему «пародию» и «иронию» (1991, 156, 170). Из первых «академистов», писавших о Зощенко, двое – А.Г. Бармин (1928, 35) и В.В. Виноградов (1928, 60) – используют пару «маска и лик». Им противостоит В. Шкловский: «Зощенко и есть то, что вы читаете» (1928, 17).

³ Наверное, первым, кто заговорил о маске и лице в связи с Зощенко, был И. Груздев. Его носящая более общий характер статья «Лицо и маска» вошла в книгу «Серапионовы братья: Заграничный альманах», изданную в Берлине издательством «Русское творчество» в 1922 г. (1922, 205-237). Имя Зощенко Груздев (1922, 236) упоминает лишь вскользь в ряду других: Б. Пильняк, Вс. Иванов, Н. Никитин. При этом, апеллируя к терминам из формалистического аппарата и протягивая нить преемственности от Пушкина до Белого, он выражает надежду на то, что начинающие писатели найдут «новые позы и новые маски» взамен «мертвых» (1922, 237). Ясно, что история маски безбрежна, но если говорить о конкретном случае Зощенко, получается, что обычай воспринимать его в маске восходит к этапу, на котором поздний символизм встретился с формализмом.

Помимо упомянутых «политической», общегносеологической и этической перспектив, проблема маски может быть представлена в широко востребованных ныне терминах идентичности⁴, а учитывая особую устность и «диалектную» маркированность зощенковского идиостиля, – например, в свете социолингвистики⁵. Думается, она поддается описанию и в категориях социальных ролей, представляющих собой некоторую альтернативу метафорике камуфляжа. Однако при всем разнообразии мыслимых подходов разрешить проблему маски применительно к литературе трудно, если вне поля зрения остается специфика писательства, традиционно отражаемая поэтикой. Согласовать некоторые «внешние» подходы с вполне консервативным интересом к форме представляется в данном смысле делом более чем оправданным.

Игра в классики

То, что Зощенко в «Перед восходом солнца» цитирует неточно, не составляет секрета. «Оплошности», допускаемые автором, нарочито тенденциозны и обнаружить их не составляет большого труда. Однако вопрос об их природе и характере далеко не столь прост. Если бы самая «интеллектуальная» книга писателя, противопоставляемая его ранней «энциклопедии некультурности», не была мемуарна и не создавалась, как декларируется, с ориентацией на фактографичность, ждать от ее автора аккуратности было бы вообще наивно. Однако «Перед восходом солнца» претендует на документальность и даже исповедальность, что невольно вызывает вопросы о ее «правдивости»⁶.

Для Зощенко чрезвычайно важна маркирующая типичность его недуга. Он не жалеет сил, чтобы вписать собственный диагноз в мировую историю, с завидным упорством отыскивая соответствующие прецеденты и апеллируя к «великим именам». Кант и Аристотель, к

⁴ Связь понятия «идентичность» и метафоры «маска» иллюстрирует, например, название книги A.L. Strauss «Mirrors and masks: the search for identity» (1959), сдвигающей термин из области эриксоновского психоанализа в область социологии.

⁵ Хронологически сфера интересов социолингвистики, как известно, простирается от современности до времен Гомера, а «диалектность» и «устность» литературного текста являются теми критериями, которые, с отсылкой к таким знаковым работам, как «Language in the Inner City» (W. Labov 1972), дают дополнительное основание для вторжения социолингвистики в традиционную область литературной критики, что, собственно, и происходит.

⁶ Комментарий к одному из эпизодов повести, который дает Зощенко в письме к жене от 17 ноября 1943 г., выражает именно такое амбивалентное отношение писателя к собственному детищу, помещаемому им между литературой и фактом: «Ты писала, что я про наши отношения (прошлые) будто бы неважно написал. Это вздор. Там всего две фразы о том, что после смерти мамы я переехал к тебе. Я не считал удобным писать более подробно. *Кроме того, это не есть подлинная биография. Это литература. [...]. Кроме хорошего, в этой фразе нет ничего. Кроме того, это был факт* [выделено мной – В.В.]. Ты уж меня не огорчай» (Грознова 1997, 94).

примеру, почтительно отзывались о меланхолии; Флобер и Э. По испытывали чудовищную тоску, – подобные факты Зоценко особенно интересны, он скрупулезно отыскивает свидетельства о них в письмах философов и таких же, как он, писателей, чтобы потом воспроизвести. Между тем избранная тактика идентификации успешно работает только до тех пор, пока цитаты из классиков читаются в тексте самого Зоценко. Стоит вернуть их в контекст, из которого они изъяты, и становится ясно, что изначально их авторы имели в виду нечто, порой до противоположности, иное.

Зоценко читает переписку Гоголя и останавливается на фразе: «Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска» (1993, 21). Вот расширенная выдержка из этого письма к матери (1837). Курсивом выделено то, что взял Зоценко:

1837, Декабря 22, Рим.

Итак, насчет моих религиозных чувств вы никогда не должны сомневаться.

Теперь поговорим о другом. Вы желаете скорее моего возвращения, я сам также желал бы увидеть вас, моих родных и моих знакомых, которые дороги моему сердцу. Но прежде всего мы должны слушаться советов благоразумия. Здоровье мое не таково еще, чтобы рисковать им, отправляясь теперь в Россию. В последнее время в Петербурге я очень страдал геморроидальными припадками. Когда я был последний раз у вас, вы, я думаю, сам заметили, что *не знал (sic), куда деваться от тоски*, и напрасно искал развлечений. Я сам не знал, откуда происходила эта тоска, и, уже приехавши в Петербург, узнал, что это был припадок моей болезни (геморроид). Выезд из Петербурга и путешествие меня поправили, а особенно жизнь в Италии (1901 1, 465)⁷.

Теперь пример из Некрасова:

И.С. Тургеневу

15 [июня 1856 г., близ Ораниенбаума]

Пять дней как на даче под Рамбовым, – смертельно стали гадки карты – проиграл почти весь выигрыш, потом пошло опять ладно, – в один вечер выиграл более тысячи рубл. – и кончил. Не мни, что я раздуваю в себе хандру, нет; а донимает она меня изрядно. Главная беда – нет рвения ни к чему, а без него жить плохо, я не умею или не люблю. Чтобы покончить эту статью, скажу тебе о своем здоровьи (sic). Горло зажило – надолго ли, не знаю; [...]

Видался с доктором. Что мне делать? Я стал рабом этих господ. [...] У меня припадки такой хандры бывают, что боюсь брошусь в море, коли один поеду да лихая минута застигнет. Этакая штука была с моим одним приятелем, который и болен-то был вроде моего. Его звали Фермором (1930, 246-247).

Зоценко в «Перед восходом солнца» оставляет следующее: «„У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой! Очень тошно“ (Некрасов – Тургеневу, 1857 г.)» (1993, 21).

⁷ Цитаты из классиков приводятся по доступным для Зоценко текстам с сохранением особенностей пунктуации источников. Впервые источники были раскрыты Ю. Томашевским (1987; 1989).

Салтыков-Щедрин, которого Зощенко тоже не оставил вниманием, в «Перед восходом солнца» предстает в таком обличье: «„Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться“ (Салтыков-Щедрин – Пантелееву, 1886 г.)» (1993, 22). У самого Салтыкова-Щедрина есть целая серия писем на эту тему, адресуемых Л.Ф. Пантелееву:

7 июня [1886 г. Финляндия. Новая Кирка].

Боткин видит меня почти ежедневно, и тоже все говорит, что вот через 2 недели я буду ходить к нему пешком; это он говорит уже целый год и конечно (sic) шутит. Да – и больного поощрять надо. А я так думаю, что меня может вылечить только самоубийство, потому что доктора вот уже два месяца не могут сладить с моим поносом, вследствие чего у меня и руки и ноги болят (1925, 303).

[Конец июня – начало июля 1886].

Скажу Вам о себе, что мне все так же худо. [...] Печальная и тяжелая участь: зову смерть, и не идет, а самоубийством покончить еще раздумываю. Силы физической у меня нет даже чтоб застрелиться: курок в пистон не ударяет (1925, 304).

5 июля 1886. Новая Кирка.

Я здесь живу скверно, а чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться. Последние шесть ночей почти не спал, а точно в тумане лежал от 3 до пяти часов в совокупности.

Прощайте, будьте здоровы и возвращайтесь в Петербург. [...] Рука совсем больше не пишет (1925, 305-306).

Гоголь тоскует, у Некрасова припадки хандры, Салтыков-Щедрин думает о самоубийстве. Но что важно и что Зощенко начисто игнорирует – ни одному из них и в голову не приходит искать исток своих тягот в сфере психики. Гоголь в письме к матери манифестирует свою религиозность, однако рассуждает как материалист и позитивист до мозга костей: его тоска происходит от геморроидальных припадков. Желание броситься в море у Некрасова оттого, что болит горло – он знает о причине невротического расстройства по опыту знакомого, страдающего тем же соматическим недугом⁸. Салтыкова же доводит до мысли о самоубийстве самый вульгарный понос.

Силуэт «маски» – образ наивного читателя или искушенного литературного подтасовщика – возникает здесь сам собой. Однако оставляя в стороне вопрос о том, насколько осознанно Зощенко подменяет смыслы⁹, обратим внимание на несколько важных аспектов, из

⁸ Устанавливаемая медицинской герменевтикой взаимосвязь между духом и животом, в которой первичен последний, пусть и иронически, фиксируется самим Некрасовым в другом письме Тургеневу, датированном 1857 годом: «О себе нечего сказать: я теперь доволен одним открытием, которое сделал в Неаполе: доктор Циммерман объявил, что у меня расстроена печень. Итак, я дурю от расстроенной печенки! Слава богу – хоть причина нашлась» (1930, 292).

⁹ Сам Зощенко по поводу своих выписок замечает: «И тогда я стал выписывать все, что относилось к хандре. Я стал выписывать без особого учета и мотивировок» (1993, 21).

которых наиболее прозрачен, условно говоря, «эпистемологический». Предпочтения и оценки, согласно которым Зоценко отбирает одни фрагменты, пренебрегая прочими, иллюстративно согласуются с логикой смены объяснительных моделей в рамках медицинского дискурса XIX и XX веков. XIX век – время Пирогова и Боткина, а отнюдь не Фрейда, поэтому русские писатели-классики упорно ищут причины душевного расстройства в соматике. Чтобы не углубляться в специальную литературу – Поль Дюбуа, один из первых психотерапевтов (к которому Зоценко, как известно, тоже имел некоторое отношение; об этой связи пишет К. Хэнсон (1995)), в 1912 году так характеризовал «допсихологическую» эпоху: «Мне живо припоминается состояние умов около 40 лет тому назад. [...] Хирургия тотчас же выступила на первый план [...] Казалось, лозунгом дня стало: – вот главный враг! Будем же бороться с ним железом, огнем и антисептиком» (1912, 2). Зоценко же, концентрируясь на психологии, поступает как раз наоборот.

Дополнительные примеры демонстрируют как силу тенденции, так и ее границы. Помимо рассмотренной выше, Зоценко приводит еще две фразы из Гоголя: «„К этому присоединялась такая тоска, которой нет описания. Я решительно не знал, куда девать себя, к чему прислониться“ (Гоголь – Погдину, 1840 г.)» (1993, 22) и «„Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение“ (Гоголь – Плетневу, 1846 г.)» (1993, 23). Физиологизм мотивировок, опущенный в данном случае Зоценко, у самого Гоголя вновь выглядит нарочитым. В цитируемом длинном письме Погдину Гоголь, помимо прочего, рассказывает и о своем необычном нервическом расстройстве, однако одновременно сообщает: «По счастью, доктора нашли, что у меня еще нет чахотки, что это желудочное расстройство, остановившееся пищеварение и необыкновенное раздражение нерв. От этого мне было не легче, потому что лечение мое было довольно опасно: то, что могло бы помочь желудку, действовало разрушительно на нервы, а нервы обратно на желудок» (1901 2, 81). И только после этого следует фрагмент, взятый Зоценко: «К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания» (1901 2, 81). В еще большей мере соматическая подоплека страданий Гоголя явлена в контексте второго извлечения. Гоголь видит лекарство в повешении или утоплении, поскольку: «Болезненные состояния до такой степени (в конце прошлого года и даже в начале нынешнего) были невыносимы, что повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение. А между тем Бог так был милостив ко мне в это время, как никогда дотоле. Как ни страдало мое тело, как ни тяжка была моя болезнь телесная, душа моя была здорова; даже хандра, которая приходила ко мне прежде в минуты более сносные, не посмела ко приближаться» (1901 3, 147). Получается, что собственно меланхолия ника-

кого отношения к суицидальному желанию русского классика не имеет, в то время как Зощенко это обстоятельство игнорирует.

Не все выписки из собранных Зощенко (что было бы уж совсем странно), взятые в их собственном контексте, настолько разительно дисгармонируют с задачей «Перед восходом солнца», как приведенные выше, – хотя таковых большинство. Кроме совершаемого психологического переворота, Зощенко зачастую, как мы только что убедились, просто оставляет без внимания то словесное окружение цитаты, которое снимает категорическую безысходность чувств ее автора.

Интерпретационный сдвиг, размывающий представление о патологической тоске, наблюдается и тогда, когда Зощенко в своей подборке свидетельств о хандре апеллирует к фразе Некрасова: «„В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет. И тогда делается при этой мысли легче“ (Некрасов – Тургеневу, 1857 г.)» (1993, 22). Дело в том, что поводом к подобного рода мыслям, согласно тому же письму, для Некрасова становятся злоключения во время путешествия из Кенигсберга, связанные с недавно приобретенной собакой. Сам Некрасов, с его же слов, «не очень устал», однако собака заболела, а кроме того, за нее у классика постоянно требовали взятки и русские, и немецкие кондукторы. Владелец несчастной собаки не скупится на детали, рассказывая о ее страданиях. В результате он выводит фразы, которые привлекли Зощенко: «Всю дорогу на душе у меня было то, чем ... собака, теперь тоже не хорошо, надо работать, а руки опускаются, точит меня червь, точит. В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет и тотчас делается при этой мысли легче. Я сообщаю тебе это потому, что это факт, а не потому, чтоб я имел намерение это сделать – надеюсь, никогда этого не сделаю» (1930, 301). Ясно, что между скрытыми в тайнах подсознания причинами меланхолии, которая одолевает рассказчика или автора «Перед восходом солнца», и бытовыми неурядицами Некрасова-собаководы, есть некоторая разница, хотя, конечно, как известно, Некрасов хандрил «в затяжную» (1930, 239).

Ровно такая же участь – упущение части смысла – постигла и Флобера. Его строки: «Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, – только гордость мешает» (1993, 22), – из письма Луизе Колэ, повисающие у Зощенко в пространстве безотчетной меланхолии, в тексте самого французского классика возникают как следствие его долгой и трудной работы над «Мадам Бовари». Этот роман давался Флоберу, как известно, не всегда легко. Временами, о чем свидетельствуют его письма, автор был окрылен, порой взбешен и недоволен невозможностью успеть за быстрой мыслью и необходимостью переделывать уже готовое. Послание Луизе Колэ пришлось на тот момент, когда Флобер был в отчаянии: «Эта книга в настоящий момент до такой степени мучит меня (я употребил бы более мягкое выражение, если бы оно подвернулось), что

иногда я физически страдаю. Вот уже три недели, как я ощущаю боль, от которой почти теряю сознание. Иной раз у меня делается удушье, и вот-вот вырвет тут же за столом. Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, – только гордость мешает. У меня является определенное искушение бросить все к чорту и прежде всего Бовари. Вот проклятая идея – взяться за подобный сюжет! Ах, узнаю я все ужасы Искусства!» (1933, 379). Отметим, Флоберу, не раз прежде говорившему об утомлении, больно и тошно в буквальном смысле слова.

Характеризуя флоберовскую трактовку соотношения между психическим и физическим, которую Зоценко вполне мог отыскать, просматривая ту же книгу, имеет смысл вспомнить и о другом письме французского классика, где действительно содержатся размышления о «нервной болезни», которой он был подвержен. Высказывая осторожные соображения о ее природе, Флобер приходит к выводу о том, что ни «спиритуалисты», ни «материалисты» не знают правды, поскольку отрывают одну ипостась человека от другой, и заключает: «Все это никем не изучено» (1933, 342). Но Зоценко упорно не интересуется чужими интерпретациями.

Возможно, Зоценко лишь ненароком пропустил другое, более подходящее для его меланхолической коллекции, письмо того же времени, где Флобер вспоминает о своей юности так: «Я отчаянно скучал! Мечтал о самоубийстве!». Но, с другой стороны, в его недосмотре была определенная логика. Ведь классик сопровождал эти воспоминания утверждением, которое свидетельствует, что в зрелом возрасте он с подобными настроениями решительно расстался: «Нет, мне нисколько не жаль своей молодости!» (1933, 302-303).

В цитате из дневника В. Брюсова Зоценко делает не менее знаменательный пропуск, забывая об одном единственном «несущественном» поэтическом украшении (выделим его курсивом): «Я устал, устал от всех отношений, все люди меня утомили и все желания. Уйти куда-либо в пустыню, где стонут тигры в глубоких долинах, или уснуть «последним сном» (Зоценко 1993, 23; Брюсов 1927, 40). Эти «тигры в глубоких долинах» должны были насторожить опытного литератора, каким, несомненно, был Зоценко: не является ли все высказывание отчасти гиперболой, отчасти литературной позой или той же «маской», которую надевает на себя молодой поэт, претендующий на роль лидера декадентов. Брюсов вел довольно активный образ жизни и был «измучен», опять же, участием в живом литературном процессе, о чем становится известно из ближайших записей. Тем не менее Зоценко, как кажется, принимает тоску поэта сугубо в свойственном ему экзистенциальном ключе.

К тому же разряду недосмотров следует, вероятно, отнести и апелляцию Зоценко к Ф. Шопену, который помещает фразу: «Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтоб хандрить» (Зоценко 1993, 21; Шопен 1929, 94), в

письмо, с одной стороны, открывающееся переходящей из послания в послание иронической формулой приветствия: «Дражайший Ти-чио! Говорю Тебе, лицемер» (Шопен 1929, 94), – а с другой, – доказывающее обусловленность печали композитора вполне конкретным нежеланием надолго покидать родину. При всем своем расстройстве и даже высказываемом предчувствии смерти на чужбине Шопен сохраняет долю вполне здорового оптимизма: «Разъясни мне, почему человеку кажется, что «завтра» будет лучше, чем «нынче»? Не будь глуп, – вот все, что я в состоянии себе ответить. Если ты знаешь другое, сообщи мне» (Шопен 1929, 94).

Трудно сказать, можно ли рассматривать в качестве релевантного примера то чувство, которое фиксирует в своем дневнике Л. Андреев за несколько дней до смерти на фоне социальных катаклизмов 1919 г. Ведь психотерапевтический пафос «Перед восходом солнца» заключается в излечении от необъяснимой печали в тех социальных условиях, когда тоски уже нет и быть не должно: жизнь уже стала «лучше». Отнюдь не радужная писательская манера Андреева, вероятно, обязана была соответствовать сходному состоянию его души, однако на этот раз у писателя-декадента была реальная причина для тревоги: «Выгнали из Тюрева аэропланы и бомбы», – отмечает он в дневнике и продолжает: «Хотели ехать на другой же день, но ночью я раздумал и отправил только часть семейных: захотелось испытать свою судьбу; тут же я и заболел. И вчера, в три с половиной ночи – налет. Не буду рассказывать: *так все отвратительно в мире, так невыносимо скучно жить, говорить, писать, что не хватает силы и желания написать хоть несколько строк. Для кого? Зачем?*» (Андреев 1930, 47). Зощенко берет для себя только последнее, выделенное мною курсивом, предложение, «забывая» о том, что реакция заболевшего Андреева на военные действия в общем ожидаема и адекватна.

Из всех собранных Зощенко самонаблюдений интерпретационно близки той цели, для которой они используются, три. Найденные Зощенко у Мопассана экспрессивные строки о тоске, которая вдруг может охватить человека среди обычного, но приевшегося благополучия, очень точно передают настроение зачина к очеркам «Под солнцем»¹⁰. Неучтенный писателем нюанс, если быть до конца придирчивым, заключается лишь в том, что перед нами все же «фикшн», пусть и построенный на основе дневниковых заметок автора. Слова о тоске принадлежат не самому Мопассану непосредственно, а рассказчику, герою очерков. При этом меланхолическое вступление контрастно противостоит последующему обширному травелогу и фабульно, в рамках логики повествования, его оправдывает. Хотя,

¹⁰ «„Чувствую себя усталым, измученным до того, что чуть не плачу с утра до вечера... Раздражают лица друзей... Ежедневные обеды, сон на одной и той же постели, собственный голос, лицо, отражение его в зеркале“ (Мопассан. Под солнцем. 1881 г.)» (Зощенко 1993, 22; см. переводы, напр.: Кублицкая-Пиоттук 1896, 194; Чеботаревская 1910, 6).

разумеется, сама по себе острейшая душевная болезнь Мопассана бесспорна, и было бы странно, если бы Зоценко мимо нее прошел.

История Э. По соответствует критериям искомой Зоценко причины необъяснимых душевных страданий. Два письма Э. По, использованные в «Перед восходом солнца», были воспроизведены К. Бальмонтом в собрании сочинений американского романтика, и по крайней мере в одном из них, обращенном к Кеннеди, нет ни экспликации по поводу тоски, ни косвенных свидетельств, которые позволяли бы судить о ее причинах. В биографическом очерке, принадлежащем К. Бальмонту, оно выглядит как прямая параллель тому, что испытывал Зоценко: Э. По экспрессивно описывает бедственное состояние духа, в котором он пребывает вопреки явной материальной удаче и успеху на поприще литератора. Как следствие появляется фраза, давшая название целой главе зоценковской повести: «Я несчастен, и я не знаю почему» (1912, 61).

Наконец, исходя из контекста заимствования, выдержка из перевода «Правды о моем отце» Л.Л. Толстого, неточно передающая высказывание Л.Н. Толстого из «Исповеди», тоже укладывается в парадигму беспричинного уныния: «„Я прячу веревку, чтоб не повеситься на перекладине в моей комнате, вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтоб не подвергнуться искушению застрелиться. Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом“ (Л.Н. Толстой. 1878 г. – Л.Л. Толстой)» (Зоценко 1993, 23; Толстой 1924, 95). Единственная оговорка, которую в связи с ней можно сделать, относится к грамматике: Л.Н. Толстой в «Исповеди» рассказывает о пережитом им кризисе в прошедшем времени.

И все же из всех герменевтических сдвигов, которые совершает Зоценко, наиболее показателен тот, что связан с заменой физиологического дискурса на психологический. Факт влияния психологической науки на Зоценко не раз обсуждался в литературе. Нам же важно выделить не саму эту зависимость, а, во-первых, то, что контексты источников, где сами «пациенты» разъясняют причины своих болезней, *явно* и категорически противоречат интерпретациям писателя и, во-вторых, что на личный интерес Зоценко накладывается актуальная для 1920-х гг. матрица восприятия проблемы. Его способ судить о том, что существенно, а что нет, наряду с самой возможностью пожертвовать «несущественным», полностью согласуется с «эпистемой» начала XX века.

В то же время механизм такой избирательности, если не сказать «интенциональности», до известной степени раскрывают факты самого простого текстологического порядка. В «Перед восходом солнца» Зоценко рассказывает о рабочих тетрадях, которые он брал с собой в эвакуацию для работы над повестью. Как раз в них и сохранились краткие выдержки из всевозможных классиков. Писатель цитировал фрагменты, которые выписывал заблаговременно. Временной и географический разрыв, помноженный на чрезвычайные обстоятельст-

ва, – плодотворная почва для того, чтобы, выстраивая собственную аргументацию, «забыть» общую логику источника, особенно в том случае, когда интересен основной факт, а не коннотативные и косвенные объяснения причин¹¹. Так что изначальный разрыв между первоисточником и цитатой в самом деле осуществлялся механически.

М.О. Чудакова в «Поэтике Михаила Зощенко» (1979), справедливо опровергая мнение Д.М. Молдавского (1970), отчего-то полагавшего, что автор «Голубой книги» исключительно бережно относится к источникам, писала: «Задача Зощенко – не в следовании источнику, а в смещении его, и, соответственно, задача исследователя источников «Голубой книги» – в определении угла этого смещения; в отношении к «Голубой книге» следует говорить о неточности как о художественной задаче» (1979, 95). Безукоризненная в рамках телеологического взгляда на литературу, позиция М.О. Чудаковой как будто не предполагает, что автор был способен ненамеренно ошибаться или, говоря по-другому, что его «ошибки» – не прием и средство, а следствие, или – вначале следствие и только затем прием.

Зощенко, Фрейд и другие

Проецирующиеся на «психологическую» концепцию книги неточные цитаты Зощенко относятся к тем частностям, которые с очевидностью отражают закономерности общего историко-культурного порядка. Это обстоятельство, вынуждающее перевести обсуждение «ошибка мастера» в плоскость, более широкую, чем поиск текстуальных несовпадений, в конечном счете не только не безразлично проблеме «лица и маски», но, напротив, предоставляет хорошую возможность подойти к ней критически.

В своем сочинении Зощенко, как известно, открыто сталкивает два враждебных взгляда на психику: с одной стороны, психоанализ Фрейда, с другой, – учение Павлова. Ко времени интенсивной работы над книгой дискуссии вокруг психоанализа уже завершились, фрейдизм был отвергнут как идеалистическое учение, а павловская теория обрела статус официальной доктрины советской науки. Следуя идеологически верной линии поведения, Зощенко открыто порицает первого и прославляет второго. Интрига эта неоднократно обсуждалась в литературе, и доказывать еще раз притягательность Фрейда для Зощенко, противоречащую его же манифестациям, излишне. Но как этот факт интерпретировать? Т. Hodge в статье «Freudian Elements in Zoshchenko's «Pered voskhodom solntsa» пишет: «If *Pered voskhodom solntsa* were ever to be published, then, Zoshchenko had

¹¹ В записных книжках, которые Зощенко перечитывал перед тем, как использовать, остались подчеркивания, пометы и обводка цветным карандашом, говорящие о внимательной работе над уже отобранным материалом (РО ИРЛИ, ф. 501, оп. 1, ед. хр. 36).

to express in Pavlovian terms what I hope to show was an essentially Freudian approach, and was obliged to emphasize constantly what he makes out to be his sympathy with Pavlov's, not Freud's, ideas» (1989, 11). Иными словами, Зоценко *маскирует* Фрейда под Павлова с практической, сиюминутной целью¹². Такая трактовка, безусловно, сильна, и вряд ли в ней можно было бы усомниться, если бы выбранная Зоценко тактика себя оправдала. Один из возможных и самых простых альтернативных подходов к вопросу, зачем Зоценко нужно было столь яростно шифровать и тем самым защищать позиции Фрейда, притом что писатель самым нелепым образом старается его скомпрометировать, состоит в допущении, что «Перед восходом солнца» вообще писалось из других побуждений. Если «маску» сорвать так просто, имел ли автор намерение ее «надевать»; или, переформулировав проблему, насколько метафора «маска», а вместе с ней и мысль о сугубо политическом интересе Зоценко к Павлову, в данном случае оправданна?

Хотя частные мотивации участников литературно-политической игры, совокупность всех ее обстоятельств и деталей вряд ли можно до конца выяснить, исходя из идеологического контекста, определившего рецепцию повести, ее провал вполне понятен. Ничто не избавляет книгу от психологизирования, от «копания в себе»¹³. Думается, намеренная тематизация «эго» и его болезней, сам жанр «психологического ню», и составляет ее элементарный, главный и не искупаемый грех перед советской цензурой и критикой.

Попытка разобраться, служило ли имя Павлова для Зоценко всего лишь риторическим оберегом, не подразумевающим никаких реальных референций, приводит к другому, тоже как бы зашифрованному, имени и, соответственно, к еще одному кругу идей. Как убедительно показал К. Хэнсон (1995), в «Перед восходом солнца» (а ранее в «Возвращенной молодости») присутствует тематический пласт, отсылающий к взглядам психотерапевта П. Дюбуа. На самом деле именно он, по всей логике, должен был бы занять место Павлова в зоценковской дилемме «Фрейд или Павлов». Именно его психотерапия и средства борьбы с неврозами, противопоставляемые са-

¹² Слово «маска» Т. Нодге не использует, но логику данной метафоризации выражает ясно, говоря о «криптофрейдизме» Зоценко (1989, 27). Такую же точку зрения высказывает и Vera von Wiren-Garczyński, задавая вопрос о сути совершенного писателем преступления: «What really was Zošćenko's crime? [...] On the surface, Zošćenko also denounced Freud and hailed Pavlov. Perhaps it is here that his crime lies – the open denunciation of Freud was conceivably only a maneuver» (1967, 17).

¹³ Реальность такой обобщенной рецепции подтверждается воспоминаниями. Например, П. Капица пишет: «И на Зоценко, казалось нам, Сталин не зря сердился. Ведь в самую тяжелую годину войны Михаил Михайлович в повести «Перед восходом солнца» начал копать в себе, пытаясь объяснить происхождение своей тоски, хандры, угнетенного состояния духа. Не до этого тогда было» (Томашевский 1995, 418).

мим Дюбуа психоанализу, до известной степени определяют пафос «Перед восходом солнца». Пожалуй, контаминация этих двух противоположных психологических тенденций, в разной степени популярных и равно чуждых официальной точке зрения советской науки с конца 1930-х гг., и лежит в основе эклектичного нарратива Зощенко.

Статус текстов Дюбуа среди интересовавших писателя идеологических источников не самоочевиден, поэтому небесполезно отчасти повторить и отчасти расширить аргументацию К. Хэнсона.

В отличие от Фрейда, который, используя знаменитый метод свободных ассоциаций, обращается к бессознательному пациента, с тем чтобы, выявив его скрытые воспоминания, заставить заново эмоционально пережить забытую травматическую ситуацию, Дюбуа занят «рационализацией» ошибок мышления. Он видит свою роль в том, чтобы растолковать подопечному несостоятельность логики, приводящей его к болезни. Его лишь факультативно интересует давняя глубинная этиология частного случая. По его мнению, залогом излечения от неврозов является ничто иное как правильное мышление и вера в выздоровление наряду с постоянным самовоспитанием в духе оптимизма. Все компоненты в формуле одинаково важны; в дополнение к ним надо еще правильно питаться. Зощенко, в противоположность Дюбуа, *ищет* причины, и делает это согласно всем основным канонам психоаналитической доктрины, но надежду на излечение он, теперь уже противореча Фрейду, возлагает именно на разум пациента – на его вразумление.

Хэнсон приводит ряд текстуально выраженных совпадений между Дюбуа и Зощенко, называя в качестве предмета внимания Зощенко книгу «Психоневрозы и их психическое лечение», перевод которой вышел в России в 1912 г. в Петербурге. Можно лишь добавить, что это далеко не единственная книга психотерапевта, переведенная на русский язык. Кроме нее были: «Влияние духа на тело» (1914), «Воображение как причина болезни» (1912b), «О психотерапии» (1911). В 1912 году, что особенно примечательно, вышла брошюра Дюбуа «Самовоспитание» (1912a), которая прямо соотносится с пафосом «Перед восходом солнца» – излечить самого себя самостоятельно и таким образом обрести счастье. Параллели, которые она заставляет провести, более чем красноречивы. Так, первая глава «Самовоспитания» называется «Завоевание счастья» и созвучна первому названию повести Зощенко – «Ключи счастья». Причем характеризуя свой труд в целом, писатель заявляет: «Вкратце – это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым» (1993, 13)¹⁴. Для Дюбуа тезис о самовоспитании – рефрен.

¹⁴ Более того, в «Психоневрозах...» Дюбуа настаивает: «Человек всегда имел и будет иметь одну мысль: стремление к счастью. [...] наше счастье не столько зави-

«Роль врача как воспитателя, – пишет Дюбуа в «Психоневрозах», – в том, чтобы установить существование душевной ненормальности, исследовать причины ее, как физические, так и психические, оставаясь все время на почве чистого детерминизма, и, наконец, установить с помощью воздействий физических и душевных требуемую духовную ортопедию» (1912, 51). Зоценко выражает ту же мысль сжато: «Везде, где есть душевное отклонение от нормы, необходима нравственная ортопедия» (1993, 59). В целом нет более банальной мысли для русской литературной традиции, начиная с XIX в., как духовное врачевание, и Зоценко лишь модернизирует эту идею, назначив себя в «Возвращенной молодости» и «Перед восходом солнца» «духовным ортопедом»¹⁵. Но эта традиция специфицирована и опосредована конкретным корпусом текстов, принадлежащих XX в. И ту, и другую книгу одновременно можно рассматривать как реализацию следующего призыва психотерапевта: «Очень полезен для больных психологический анализ собственной личности, направляемый с намеренным оптимизмом сочувствующим врачом, который сам пользуется, если не идеальным душевным здоровьем (ибо это невозможно), то, по крайней мере, средним душевным благосостоянием» (Дюбуа 1912, 72-73).

Несмотря на то, что К. Хэнсон не противопоставляет свое открытие концепции Т. Hodge, а скорее пытается ее дополнить, и, главное, по-прежнему следует идее маски¹⁶, дело, надо полагать, обстоит если не сложнее, то несколько иначе. Повод заговорить о профессоре Бернского университета дал сам Зоценко, упомянув его имя в повести. Оно появляется в авторском примечании в следующем контексте:

Это наименование «больные» предметы я взял у Дюбуа. «Больными» предметами я называю такие предметы, которые произвели на младенца болезненные впечатления, с которыми была условно связана какая-либо беда, боль, травма (1995, 246).

Данное признание, однако, не проясняет отношения зоценковского текста к Дюбуа. Напротив, оно провоцирует мысль об очередной подмене или ошибке. Ведь исходя из определения, которое писатель дает «больным предметам», этот термин, как справедливо замечает и Хэнсон, скорее, нужно отнести к теории Фрейда, а никак не к

сит от внешних обстоятельств нашей жизни, сколько от коренного строя нашей души [...]. По большей части мы сами куем себе наши страдания» (1912, 46-47).

¹⁵ По крайней мере в двух фрагментах автор «Перед восходом солнца» принимает на себя роль врачевателя: «История молодой женщины» и «История молодого человека». Женщину он исцеляет сам – точно по сценарию случаев успешной рациональной терапии, которые приводит в своих книгах Дюбуа. (Похожа на эту и «новелла» «Неожиданный финал»). Молодому человеку ставит предварительный диагноз и отправляет к фрейдисту, так как врача-павловца нет.

¹⁶ «Зоценко пришлось приписать свои психологические теории исключительно известному физиологу Ивану Павлову» (Хэнсон 1995, 62).

взглядам основателя рациональной психотерапии¹⁷: Фрейд концентрирует внимание на внешних воздействиях, уже в первый период своей деятельности связывая их понятием «аффективной травмы». Выражение же «больные предметы» в русских переводах Дюбуа, которые мог читать Зощенко, отсутствует (мне, по крайней мере, его обнаружить не удалось). Более того, сама концепция психотерапевта подразумевает иной подход к лечению: первопричины, как уже говорилось, его интересуют мало.

Текст «Перед восходом солнца» принципиально гетерогенен и «междискурсивен». Фундаментальный для Зощенко интерес к фобиям, теория которых представлена у него в форме, слишком напоминающей главу «Страх» из «Лекций по введению в психоанализ» (впрочем, не обязательно только это сочинение), сопровождается непрекращающейся на протяжении всей книги полемикой против Фрейда. Зощенко не шифрует Фрейда, а открыто воспроизводит его позиции, последовательно опровергая:

Фрейд считает, что все наши импульсы сводятся к *сексуальным влечениям*, что в основе наших чувств, и даже в основе чувств младенца, лежит *эрос*. Но данный пример говорит иное (1993, 240).

Не *эдипов комплекс*, а нечто более простое и примитивное присутствует в наших бессознательных решениях (1993, 246).

Эта полемика одновременно несколько не мешает Зощенко мыслить в категориях Фрейда. Зощенко смело дополняет их терминами рефлексологии Павлова – «торможение», «условные связи»:

Чувство голода и страх потерять питание – вот что за порогом сознания нашло живейший отклик и весьма подготовленную почву. [...]

Нет сомнения, в этом мире с огромной силой действуют и сексуальные мотивы. Но они далеко не единственны. И патологические *торможения* в сексуальной сфере являются лишь составной частью патологических *торможений*, характеризующих психоневроз.

Механизмы головного мозга, открытые Павловым, подтверждают это с математической точностью (1993, 240).

Он контаминирует все это с логикой исправления ошибочных представлений по Дюбуа:

Условные связи продолжали существовать. Условные доказательства – ложные и подлинные – продолжали питать и укреплять нервные связи.

Это была болезнь, *болезнь против логики, против здравого смысла* [выделено мною – В.В.]. Это был психоневроз, обнаружить который поначалу было не так-то просто (1993, 244).

¹⁷ I. Masing-Delic передает «больные предметы» на английском как «dangerous objects» (1980, 79) и объясняет этимологию выражения Зощенко влиянием французской традиции. Круг возможных источников, однако, при этом не очерчивается. Т. Hodge переводит этот «термин» на английский как «painful», что, конечно, более согласуется с логикой психоанализа (1989, 22).

Наконец, Зощенко, бесконечно варьируя сочетание трех психологических идеологий и соответствующей им лексики, вне открытых манифестаций примиряет и подчас сращивает их в одной фразе:

Между тем это был всего лишь бурный ответ (верней, *комплекс* [Фрейд – В.В.] ответов) на *условные раздражители* [Павлов – В.В.]. Причем ответ целесообразный с точки зрения бессознательной животной психики. В основе этого ответа лежал оборонный рефлекс. В основе ответа была защита от опасности, страх животного, *страх младенца* [Фрейд – В.В.].

Разум не контролировал этот ответ [Дюбуа – В.В.]. *Логика была нарушена*. [Дюбуа – В.В.] И страх действовал в губительной степени (1993, 247).

Легко предположить, что и выражение «больные предметы» образовалось по сходной комбинаторной модели¹⁸.

Из трех концепций, опознаваемых в «Перед восходом солнца», лишь рациональная психология может по-настоящему претендовать на статус латентной. И способствует этому, как ни странно, отнюдь не стремление автора сделать ее таковой, а «здравомыслие» и даже банальность позиции Дюбуа. В ней нет ничего экзотического, кроме того, что она обходится без сложных построений, предпочитая им логику обыденной жизни в качестве противовеса фантазмам неврастеника. Поэтому ее авторство не распознается так просто, как маркированные фрейдистские или павловские построения¹⁹.

Нужно обратить внимание и на то, что при всей наивности зощенковского теоретизирования сближение трех концепций имеет под собой основания. Идеи Павлова в изложении Дюбуа, который признавал авторитет русского физиолога, лишь подтверждают принципы рациональной психологии²⁰. Дюбуа и Фрейд сходятся, когда отвергают гипноз и внушение как средство излечения. Дюбуа использует опыт фрейдовского анализа сна, приспособляя его к собственной объяснительной доктрине, хоть и без медико-прагматического применения (1912, 284-285). В то же время в условиях дискурсивной эклектичности и свободы обращения с чужим материа-

¹⁸ Сходным образом переосмыслено название романа «Опасные связи», в которые трансформировались у Зощенко павловские «условные рефлексы», предварительно превращенные в «условные связи», когда он использовал выражение Ш. де Лакло в качестве названия главы. К ней собственно и относится примечание о Дюбуа.¹⁹

В конце концов, три последние главы «Перед восходом солнца», название которых начинается формулой «разум побеждает», согласуясь с идеологической доктриной советского марксизма, совпадают с главной вдохновляющей идеей Дюбуа.

²⁰ И «Возвращенная молодость», и «Перед восходом солнца», по сути, подчинены принципу соответствия химизма и психики, которому следуют и Павлов, и Дюбуа. В версии последнего это звучит так: «Граница, между физиологией в собственном смысле слова и психологией не представляет из себя черты, у которой можно остановиться. Нет общей границы, но обе области набегают одна на другую» (1912, 64). Но именно Дюбуа, а не Павлов делает практический вывод из этого: «Не химизм делает человека неврастеником или ипохондриком, а его психическое я, зависящее от условий наследственности, атавизма и воспитания» (1912, 379).

лом, которую Зощенко демонстрирует, панегирик Павлову из первой части повести, несмотря на свою антиномичность в отношении к остальному тексту, занимает в нем столь же сильную позицию, что и обращение к идеям отвергаемого Фрейда²¹. То, что писатель смешивал Павлова с Фрейдом, Фрейда – с Дюбуа, С. Цвейгом²², а, возможно, и с К. Юнгом²³, Я. Марциновским (список легко продолжить), еще не означает, что он пытался кого-то обмануть, занимаясь криптографией чьих-то воззрений под маской веры в советскую науку. Главное, что эти имена объединены континуумом идей, который представляет собой психология. Разделены же они внешними политико-идеологическими обстоятельствами: Дюбуа забыт²⁴, Фрейд заперщен, Павлов возведен на пьедестал. Для Зощенко же, судя по тому, какую беспечную политику он избрал и реализовал в конкретном литературном тексте, политика оставалась на втором месте. В своем «свободном» выборе Зощенко, как и в случае с классиками, подчинен «психологической эпистеме». Его интенции аполитичны, как бы он сам ни старался представить их в другом свете. В этом отношении он ничего не «шифрует» и не «маскирует» и одновременно не «открыт», не «искренен», не «честен». Его неточности совсем не обязательно лишь телеологичны, они следствие своего рода «интенциональной слепоты».

Противоречие между идеологией и психологией не замедлило сказаться, как только книга попала в руки главного читателя СССР, обладавшего своим зрением: его «горизонт ожиданий» не совпал с пафосом Зощенко в базовом – в различении или конструировании (мы вновь сталкиваемся с постгуссерлианской проблематикой) того, что является сущностью²⁵. Включаясь в политически значимый спор

²¹ Т. Hodge решительно оспаривает мнение I. Masing-Delic о концептуальной значимости Павлова для Зощенко на том основании, что Павлов инороден логике целого ряда «фрейдистских» эпизодов повести (1989). Но с точки зрения риторики (с ее акцентом на репрезентации идей, а не на вопросе об истинности высказывания), павловская топика имеет тот же самый вес. Поэтому тезис I. Masing-Delic и других критиков, придерживающихся его же, трудно признать ошибочным. Нам приходится мириться с полигенетичностью текста Зощенко.

²² О влиянии «Врачевания и психики» Цвейга писала V. von Wiren-Garczyński, обращая при этом внимание на рассказ Зощенко «Врачевание и психика», где Зощенко, казалось бы, атакует психологический подход к излечению болезней, тогда как на самом деле все обстоит сложнее. Он прячется за спиной наивного нарратора и таким образом: «This way the author could at least temporarily confuse and mislead the censorship» (1967, 7). Однако заметим, сказ сам по себе не предполагает конспирации в политическом смысле слова.

²³ Об интересе Зощенко к Юнгу вспоминал, например, Г. Гор (Томашевский 1995, 222).

²⁴ С идеологической точки зрения, правда, у Зощенко был повод не афишировать Дюбуа, учитывая лояльное отношение последнего к религии и вере.

²⁵ Ни обычный читатель, ни критика не утруждали себя столь детальной атрибуцией идей, выраженных в психологических повестях Зощенко. Их интересовала общая психологическая направленность, либо принимаемая, либо нет. Так, вполне

о фрейдизме, Зощенко возвращается к конфликту, лишенному всякой публичной актуальности и по данной причине вредному. Бороться с Фрейдом, имя которого к концу 1930-х уже сошло со страниц печати и было, по сути, табуировано, он попросту опоздал. Поэтому «маска», а, может быть, вернее, взятая на себя *роль*²⁶ полемиста, ничем ему не помогла.

Тень Тинякова

Совершенно очевидно, что для Зощенко в конструируемой им истории культуры существуют группы притяжения и группы отталкивания. Свое отношение к ним Зощенко выражает эксплицитно. Такая «самокатегоризация» вполне согласуется с представлением о социально-психологической идентичности, несмотря на то, что группы, которые имеет в виду Зощенко, не совсем реальны²⁷. В разряд его фаворитов попадают русские и мировые литературные классики и вместе с ними – психолог Павлов. Центральное место среди аутсайдеров занимает авторитетный Фрейд, а из литераторов – самый что ни на

благожелательные, хотя и далеко не всегда выражающие согласие в частности, мнения специалистов от медицины на обсуждении «Возвращенной молодости» Зощенко в горькие писателей 11 марта 1934 года подчинялись в конце концов оценкам эстетического свойства. Причем вращались они вокруг хорошо знакомой в связи с ранними рассказами писателя темы мещанства и идеи маски. Председательствующий В. Каверин спрашивал: «Он [Зощенко] впервые вышел из круга первых своих тем и заговорил совершенно другим голосом. Что это за голос? Множество сомнений возникает у читателей этой книги – голос ли это автора, не говорит ли Зощенко от имени читателя для другого читателя, обладающего очень хорошими признаками – «отеком мордой и набрякшим брюхом?»» (РО ИРЛИ, ф. 501, оп. 2, ед. хр. 79, л. 2 об).

Такая постановка вопроса (притом что Каверин был всецело на стороне Зощенко) обернулась выпадом Е.Г. Полонской: «Интересно, где ключ? Ключ дает сам Зощенко, он говорит, что пишет о мещанине. Я думаю, что конечно правильно, что он пишет о мещанине, но он пишет и для мещанина [...] В заключение я думаю, что этот рассказ имеет еще один смысл, смысл провокационный...» (там же, л. 20). Ее заключение принципиально и для нас: «Зощенко из тех людей, у которых даже искренность двойственна» (там же, л. 20 об).

²⁶ Разумеется, понятие социальной роли не менее противоречиво, чем «маска». Преимущество последней в рамках избранной нами перспективы состоит лишь в том, что в «ролевых теориях» за человеком при сохранении его «самости» в качестве нормы эксплицируется необходимость быть разным в отношениях с другими людьми, завися от последних. Несмотря на все опасности, с которыми всегда связаны обобщения, подводящие частный случай под общую теоретическую модель, нельзя не отметить, что объяснительные схемы, подобные дихотомии “I” – “me” Дж. Мида (Mead 1934), предоставляют возможность формализовать ситуацию, когда писателю за чем-то требуется облачать свое внутреннее «I», превращаясь в подвергаемое внешней оценке “me”. Согласно этой возможности, Зощенко лишь реализует естественную для человека поведенческую стратегию.

²⁷ Согласно Н. Tajfel, напр., любому межгрупповому и личностному взаимодействию всегда предшествует определенного рода «самокатегоризация», попытка найти свое место в той или иной из социальных групп (1981, 255).

есть ничтожный, в глазах писателя, поэт А.И. Тиняков, числящийся в критике его двойником и одновременно претендующий на роль его очередной «маски». Но, учитывая, что разоблачаемый Фрейд совсем не столь чужд Зощенко, как представляется, насколько и в каком смысле он отталкивает поэта-неудачника?

Поэт А.И. Тиняков дважды становился для Зощенко объектом пристального внимания, тщательного анализа и атаки. Его фигура, трансформированная писательским воображением, проступает за текстом «Мишеля Синягина» (1930). Он же становится героем эпизода из «Перед восходом солнца». В первой повести Зощенко пробует разобрать мотивации и обстоятельства жизни поэта, который, оказавшись в сложном положении, предпочел социализации, маргинальную жизнь порнографа и попрошайки. Взамен господствовавших в советском литературоведении социально-этической и эстетической интерпретаций²⁸, интерес Зощенко к Тинякову получает «психобиографическую» трактовку у А.К. Жолковского, который, правда, видит в отождествлении с собственными героями вообще средства зощенковского самоанализа²⁹. Последнее, надо сказать, уже само по себе подрывает идею «маски», заставляя думать о механизмах поиска писателем собственной идентичности. Но ситуация, кажется, может быть в еще большей степени конкретизирована.

Имя Тинякова, сокращенное до «А. Т-в», появляется в «Перед восходом солнца» как символ отгнившего прошлого:

Я был свидетелем того, как уходил этот мир, как с плеч его соскользнула эта непрочная красота, эта декоративность, изящество.

Я вспомнил одного поэта – А. Т-ва.

Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало. Я помнил его еще до революции, в 1912 году. И потом я увидел его через десять лет.

Какую страшную перемену я наблюдал! Какой ужасный пример я увидел!

Вся мишура исчезла, ушла. Все возвышенные слова были позабыты. Все горделивые мысли были растеряны.

Передо мной было животное (1993, 208-209).

²⁸ М.О. Чудакова, говоря о «Мишеле Синягине», настаивает: «Задача повести – не обличение ее героя, как казалось критике, а «обличение» литературы. Расквитаться с литературой целой эпохи – от Лаппо-Данилевского до Блока – оказалось делом нелегким» (1979, 68). Критика, которой противопоставляет свою позицию М.О. Чудакова, видела в герое повести тип – тип полунинтеллигентного мещанина, то есть ориентировалась на внетекстовую реальность. М.О. Чудакова переводит проблему в область эстетической формы. Более поздние биографические анализы текстов Зощенко возвращаются к реальности, но вместо «типа» концентрируют внимание на единичности – на личности.

²⁹ Реакцию Зощенко на Тинякова объясняют недоверием или страхом перед нищими. А.К. Жолковский пишет о «расщепленном самоотождествлении МЗ с субъектами «нищенства»» (2007, 43). Во многом эти мотивировки взяты у самого Зощенко из той же, как считается, автобиографической «Перед восходом солнца». Но что если повесть не столь автобиографична, как кажется, особенно в том, что касается давних деталей?

Очевидный факт, что живописание дореволюционной России целиком строится на противопоставлении внешности и сущности, маски и животной физиономии (на том самом, которое лежало в основе риторики обвинений, выдвигаемых против самого Зоценко), несколько затеняет факт, что в качестве мишени для политической, социальной и этической критики Зоценко избирает конкретного собрата по перу. Изящная эстетика становится для него квинтэссенцией деградировавшего мира, но повод избрать на роль козла отпущения малозначимого поэта, тем самым превращая его в более важную персону, заставляет все же задуматься. Творчество А.И. Тинякова, как и в случае с классиками, было Зоценко хорошо и издавна известно, критически оцениваемо и востребовано им как источник цитат. Именно на это хотелось бы обратить внимание³⁰. В «Перед восходом солнца» Зоценко воспроизводит несколько стихов из двух книг поэта, причем первая относится к упомянутому выше году знакомства – 1912; а вторая – к 1922 г. Следующая довольно большая выдержка из повести оправдана значимостью как деталей, так и контекста:

Я встретил его на улице. Я помнил его обычную улыбочку, скользившую по его губам, – чуть ироническую, загадочную. Теперь вместо улыбки был какой-то хищный оскал.

Порывшись в своем рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке, поэт с церемонным поклоном подарил ее мне.

Боже мой, что было в этой книжечке!

Ведь когда-то поэт писал:

Как девы в горький час измены,
Цветы хранили грустный вид.
И, словно слезы, капли пены
Текли с их матовых ланит...

Теперь, через десять лет, та же рука написала:

Пышны юбки, алы губки,
Лихо тренькает рояль.
Проституточки – голубки,
Ничего для вас не жаль...

Все на месте, все за делом,
И торгуют всяк собой:
Проститутка – статным телом,
Я – талантом и душой.

В этой книжечке, напечатанной в издании автора (1922 г.), все стихи были необыкновенные. Они прежде всего были талантливы. Но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их.

³⁰ Судьба А.И. Тинякова может послужить одним из характерных образцов изменчивости этических оценок. Имея безнадежную репутацию при жизни и долгое время, благодаря Зоценко, после смерти, ныне он в определенном смысле и из совершенно разных интересов «реабилитируется» (см. напр.: Богомолов 1998; Краснова 2005).

В этой книжечке имелось одно стихотворение под названием «Моление о пище». Вот что было сказано в этом стихотворении:

Пищи сладкой, пищи вкусной
Даруй мне, судьба моя, –
И любой поступок гнусный
Совершу за пищу я.

В сердце чистое нагажу,
Крылья мыслям остригу,
Совершу грабеж и кражу,
Пятки вылижу врагу!

Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. Вместе с тем история нашей литературы, должно быть, не знает сколько-нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения (1993, 209-210).

Резюмируем необходимое согласно воспоминаниям Зощенко: писатель повторно встретил Тинякова в 1922 г. Он признает талант поэта, даже «почти гениальность» и категорически не приемлет его этическую позицию. Теперь проверим и дополним эти данные. Первая цитата из Тинякова: «Как девы в горький час измены...», – действительно относится к 1912 году. Она взята из стихотворения «На озере», вошедшего в сборник «Navis nigra» (1912, 40). Со второй же («Пышны юбки, алы губки» из стихотворения «Я гуляю!») и третьей («Пищи сладкой, пищи вкусной...»), заимствованных из книги «Аз есмь сущий» (1924, 10-11, 14-15), связана некоторая путаница. Дело в том, что она вышла не в 1922 году, как пишет Зощенко, а, скорее, в 1924 – такая дата указана на титульном листе, тогда как на обложке выведен год 1925. Иными словами, Зощенко-мемуарист «ошибся»: то ли встреча состоялась позже, то ли Тиняков подарил ему в тот раз другую книжку. Эта ошибка сама по себе не играет существенной роли – какая разница для не совсем документального текста, состоялось событие чуть раньше или чуть позже, выдуманно оно или реально. Не приходится игнорировать опять-таки лишь контекст, из которого Зощенко выбирает цитаты, вновь и вновь напроочь о нем, о контексте, «забывая».

Как и Зощенко, который собирает свои рассказы в книги, сопровождая их предисловием, Тиняков в «Аз есмь сущий» снабжает свои стихи авторским комментарием. Вот он в извлечениях:

Я знаю, что многие читатели встретят мои стихи с негодованием, что автора объявят безнравственным человеком, а его книжку – общественно вредной.

Такой подход к делу будет, однако, вполне неправильный.

Дело поэта, – как и всякого художника, – состоит не в том, чтобы строить или переустраивать жизнь, и не в том, чтобы судить ее, а в том, главным образом, чтобы отражать ее проявления.

В жизни же, как известно, всегда было, есть и будет, наряду с тем, что считается прекрасным и добрым, и то, что признается безобразным и злым. Художник, в моменты творчества по существу своему чуждый морали, волен

изображать любое проявление жизни, «доброе» рядом с «злым», «отвратительное» наряду с «прекрасным».

За сюжеты и темы поэта судить нельзя, невозможно, немислимо! Судить его можно лишь за то, как он справился со своей темой.

Я к моей книге беру современного человека во всей его неприкрашенной наготе. [...]

Если я передаю настроения загулявшего литератора, с восторгом говорящего о своем загуле, – это отнюдь не значит, что я «воспеваю» его и утверждаю, как нечто положительное. Я только остаюсь в пределах художественной добро-совестности, я только рисую, а судить о нарисованном мною образе с моральной или общественной точки зрения предоставляю читателю (1924, 3-5).

Две вещи очевидны: во-первых, Зоценко в «Перед восходом солнца» повторяет критическую оценку, которую предвидит и нарочно провоцирует сам Тиняков; во-вторых, Зоценко вольно или невольно утаивает от своего широкого читателя факт, что «маска» Тинякова, автора «Аз есмь сущий», – манифестируемый Тиняковым прием, обусловленный четко артикулируемой философской и эстетической концепцией. Главное заключается в том, что «интенциональная слепота» советского писателя-сатирика распространяется в первую очередь на известное тождество его собственной *эстетической* позиции тому, о чем пишет Тиняков. Это случай нежелательной эстетической идентификации, при которой, как ни странно, талантливый и популярный Зоценко неожиданно оказывается кем-то вроде эпигона (он ведь повторяет базовый прием Тинякова) по отношению к поэту с весьма сомнительной литературной и просто человеческой репутацией.

Рождению зоценковской поэтики сказа с характерной для нее неразличимостью автора и героя не предшествовали никакие манифесты, но впоследствии писателю не однажды приходилось оправдывать ее в том же ключе, как делает Тиняков³¹. Не зря, в частности, именно за аморальность и этическую нейтральность начинающий Зоценко сразу получает выволочку от Воронского³². Как и Тиняков, от своего героя (будь то ранние рассказы или «психоаналитическая» повесть, где главным персонажем является «я» – «аз») Зоценко тоже не был в восторге³³. Почти каждое положение из предисловия к «Аз

³¹ Из письма Зоценко М. Слонимскому: «Тему путают с автором. Не могу же я к каждому рассказу прилагать учебник словесности» (Томашевский 1995, 103). Слонимский, что не удивительно, тоже оценивает эту ситуацию как неразличение лица и маски.

³² «Тема о Синябрюховых очень своевременна. Только нужно уметь по-настоящему связать ее с нашей эпохой, а для этого требуется, в первую голову, художественное проникновение в ее существо, в ее сердце. Иначе будут получаться либо недоговоренности и неопределенности, либо безделушки и бонбоньерки, либо прямо контрреволюционные вещи. У Зоценко есть неопределенность» (Воронский 1922, 344).

³³ И это «я – аз» становится первейшим объектом для критики «Перед восходом солнца»: «Зоценко занят только собой. Читатель все время чувствует в повести назойливое выпячивание писателем своего “я”» (Горшков 1944, 202).

есмы сузий» обретает свой аналог у Зощенко. Поэт-неудачник в своей программе, формулируемой задним числом, как бы предвосхищает поэтическую практику знаменитого советского писателя Зощенко.

Свою книгу Тиняков заканчивает не менее ударным, чем предисловие, заключением от автора, где еще раз подчеркивает идею, несомненно связанную с проблемой «маски», причем осмысливает ее в понятиях персональной идентичности и проксемики, четко определяя дистанцию между собой и читателем:

В моей книге высказана некая несомненная правда.

Но правда не есть Истина, – это читатели должны помнить, во-первых.

Во-вторых, – я предвижу, что иные читатели, брезгливо улыбаясь, будут говорить: «Это автор про себя писал!».

Не совсем так.

Конечно, я писал и о себе (что бы я был за урод, если бы мне были чужды переживания, изображенные в моей книге!) – но, все же, больше я писал о тебе, – читатель-современник (1924, 27).

То, что никакие объяснения и «обнажение приема» не помогли Тинякову в адаптации к новым условиям (а он, кажется, старался), не имело бы значения для рассматриваемого сюжета, если бы его судьба не напоминала положение самого Зощенко, как оно сложилось к тридцатым годам. Популярного сатирика, гонимого за неуместную эстетическую практику, тоже не выручали оправдания. Как раз к этому моменту он, казалось бы, окончательно порвал с «мещанской» поэтикой, всецело предавшись «покаянию» и обнажению собственной душевной жизни. И вновь нельзя не заметить, что этот прием обнажения собственного «я», «психологическое ню», был предвосхищен книгой ненавистного поэта-попрошайки, раскрывающего свои истинные интенции и мотивы в комментарии, обрамляющем литературу – стихи.

Вернемся теперь на минуту от обобщений к встрече 1922 года, о которой упоминает автор «Перед восходом солнца», к вопросу, на первый взгляд, чисто текстологического характера. Откуда у Зощенко могла взяться именно эта дата? Ответ, несмотря на его принципиальную гипотетичность, может быть очень прост. Зощенко прочитал или перечитал при работе над «Перед восходом солнца» «Аз есмь сузий» *до конца* – хотя, возможно, и *не от начала*. Послесловие к книге поэт подписывает так: «Александр Тиняков 1-го Февраля, 1922. Петербург» (1924, 27).

Зощенко дочитал послесловие, и последняя дата отложилась в тексте повести. Если догадка верна, следует предположить и то, что он не был настолько беспечен, чтобы случайно не заметить контекста, из которого в очередной раз выхватывал цитату. Конечно, это лишь допущение, но одно из тех, о котором имеет смысл упомянуть.

История с цитатами еще раз убеждает, что, если перефразировать Тинякова, «правда» Зоценко не есть «Истина» – однако и то, и другое все же составляют его «персональность».

*

Проблему маски Зоценко невозможно выбросить из истории литературы, но статус ее, кажется, небесполезно поменять, переведя, хотя бы на время, из операциональных понятий, с помощью которых ситуация описывается и оценивается, в ранг предмета критики. Закрепившиеся в смежных гуманитарных дисциплинах понятия помогают выйти из круга метафор, диктующих эссенциалистскую онтологизацию сущности, отделяемой от ее «несущественных» проявлений, и сосредоточиться на единстве личности и писательских практик. Конечно, никакие термины сами по себе не дают абсолютных координат, позволяющих раз и навсегда, если можно так выразиться, привязать факт к реальности, но, думается, перед нами тот случай, когда интерпретационной и дескриптивной относительности следует отдать предпочтение.

Ранние поэтика и стиль Зоценко были заметны, отличимы: их распознавали искушенные критики и на это же реагировала публика. Поэтому поэтика Зоценко легко возводится в ранг «литературной маски» и в ранг игры (хотя здесь есть исключения – для официальной прижизненной критики «маска» соотносилась не с игрой, а с обманом читателя и преступлением). Специфика поздней «поэтики подмен» заметна не сразу, а для читателя-неспециалиста, учитывая установку автора на исповедальность и отсутствие сказа, который маркировал бы дистанцию между позицией писателя и текстуальной репрезентацией нетождественной ей точки зрения, вряд ли вообще ощутима. Однако и в том, и в другом случае Зоценко создавал свой текст таким, какой он есть, потому что таковой для него была сущность выражаемого литературным текстом явления.

Литература

- Bernstein, R.J. 1983. *Beyond objectivism and relativism: science, hermeneutics, and praxis*. Oxford.
- Cumming, R.D. 1991-2001. *Phenomenology and deconstruction*. V. 1-4. Chicago.
- Hodge, T. 1989 Freudian elements in Zoshchenko's "Pered voskhodom solntsa" (1943). *The Slavonic and East European Review* 67/1, 1-28.
- Labov, W. 1972. *Language in the inner city*. Philadelphia.
- Lawlor, L. 2002. *Derrida and Husserl: the basic problem of phenomenology*. Bloomington.
- Masing-Delic, I. 1980. Biology, reason and literature in Zošćenko's "Pered Voschodom Solnca". *Russian Literature* VIII-I, 77-101.
- Mead, G.H. 1934. *Mind, self and society from the standpoint of a social behaviorist*. Chicago.

- Mohanty, J.N. 1997. *Phenomenology: between essentialism and transcendental philosophy*. Evanston.
- Scatton, L.H. 1993. *Mikhail Zoschenko: evolution of a writer*. Cambridge.
- Strauss, A.L. 1959. *Mirrors and masks: the search for identity*. Glencoe.
- Tajfel, H. 1981. *Human groups and social categories: studies in social psychology*. Cambridge.
- Timothy, R.A. 1989. Narrative discourses and discoursing in narratives: analyzing a poem from a sociolinguistic perspective. *Poetics Today* 10/4, 703-728.
- von Wiren-Garczynski, V. 1967. Zoschenko's psychological interests. *The Slavic and East European Journal* 11/1, 3-22.
- Андреев, Л.Н. 1930. Последние страницы дневника. *Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева*. Москва.
- Бармин, А.Г. 1928. Пути Зощенко. – *Михаил Зощенко: Статьи и материалы*. Ленинград, 27-50.
- Белая, Г. 1995. Экзистенциальная проблематика творчества М. Зощенко. *Литературное обозрение* 1, 4-13.
- Бескина, А. 1935. Лицо и маска Михаила Зощенко. *Литературный критик* 1, 107-131, 2, 59-92.
- Богомолов, Н.А. (ред.) 1998. Тиняков А.И. (Одинокий). *Стихотворения*. Томск.
- Брюсов, В.Я. 1927. *Дневники. 1891-1910*. Москва.
- Виноградов, В.В. 1928. Язык Зощенки. – *Михаил Зощенко: Статьи и материалы*. Ленинград, 51-92.
- Вольпе, Ц. 1991. *Искусство непохожести: Бенедикт Лившиц, Александр Грин, Андрей Белый, Борис Житков, Михаил Зощенко*. Москва 1991.
- Воронский, А. 1922. Михаил Зощенко. «Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова». Петербург. Эрато 1922 г., 76. Мих. Слонимский. «Шестой стрелковый». Петербург. «Время». 1922 г., 94. [Рец.] *Красная новь* 6, 343-345.
- Горький, Н.В. 1901. *Письма*. Т. 1-4. Санкт-Петербург.
- Горшков, В. 1944. Горшков В., Г. Ваулин, Л. Рутковская, П. Большаков. Об одной вредной повести. *Большевик* 2, 56-58.
- Грознова, Н.А. (ред.) 1997. *Михаил Зощенко: Материалы к творческой истории*. Кн. 1. Санкт-Петербург.
- Груздев, И. 1922. Лицо и маска. – *Серпионовы братья: Заграничный альманах*. Берлин, 205-237.
- Дюбуа, П. 1911. *О психотерапии*. Москва.
- 1912. *Психоневрозы и их психическое лечение*. Санкт-Петербург.
- 1912а. *Самовоспитание*. Санкт-Петербург.
- 1912б. *Воображение как причина болезни*. Москва.
- 1914. *Влияние духа на тело*. Санкт-Петербург.
- Жолковский, А.К. 2007. *Михаил Зощенко: поэтика недоверия*. Москва.
- Зощенко, М.М. 1993. *Собрание сочинений в 5-ти тт.* (Сост. Ю.В. Томашевский). Москва.
- Краснова, Н. 2005. Одинокий поэт Тиняков. *Наша улица* 1, 118.
- Крепс, М. 1986. *Техника комического у Зощенко*. Benson, Vermont.
- Кублицкая-Пиотгух, А.А. (перевод.) 1896. Под солнцем – Мопассан Г. *Собрание сочинений* (изд. 2). Т. 5. Санкт-Петербург, 193-284.
- Молдавский, Д. 1970. Повести Михаила Зощенко конца 20-х – 30-х гг. *Русская литература* 4, 37-61.
- Некрасов, Н.А. 1930. *Собрание сочинений (Письма 1840-1877)*. Т. 5. Москва, Ленинград.
- По, Э. 1912. *Собрание сочинений Эдгара По*. Т. 5. Москва.
- РО ИРЛИ. М.М. Зощенко. Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук.

- Салтыков-Щедрин, М.Е. 1925. *Письма* (Труды Пушкинского Дома при Российской Академии наук). Ленинград.
- Тиняков, А.И. 1912. *Navis nigra: Стихи 1905–1912 гг.* Москва.
- 1924. *Ego sum qui sum («Аз емь суций»)*. Третья книга стихов 1921–1922 гг. Ленинград.
- Толстой, Л.Л. 1924. *Правда о моем отце*. Ленинград.
- Томашевский, Ю.В. (ред.) 1987. *Зощенко М.М. Исповедь*. Москва.
- (ред.) 1989. *Зощенко М.М. Исповедь*. Киев.
- (ред.) 1994 *Лицо и маска Михаила Зощенко*. Москва.
- (ред.) 1995. *Воспоминания о Михаиле Зощенко*. Санкт-Петербург.
- Флобер, Г. 1933. *Собрание сочинений (Письма 1831–1854)*. [Т. 7] Москва, Ленинград.
- Хэнсон, К. 1995. П.Ш. Дюбуа и Зощенко: «Рациональная психотерапия» как источник зощенковской психологической теории. *Литературное обозрение* 1, 62-65.
- Чеботаревская, А. (перевод.) 1910? [-1916]. Под южным солнцем. – Мопассан Г. *Полное собрание сочинений*. Т. 25. Санкт-Петербург.
- Чудакова, М.О. 1979 *Поэтика Михаила Зощенко*. Москва.
- Шкловский, В. 1928. О Зощенке и большой литературе. – *Михаил Зощенко: Статьи и материалы*. Ленинград, 13-25.

Санкт-Петербург
(valeryvyugin@gmail.com)

Валерий Вьюгин